

Денис Пожидаев

Я ТЕБЕ НЕ ПРИНАДЛЕЖУ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ УСАДЬБЫ

Губернии *Виндзюш*

Продавец продаёт, а Покупатель покупает *Нарисованная*
усадьбу, состоящую из:

1. Земельного участка *Ноль*
2. Жилого дома
3. Хозяйственных построек
4. Прочих строений и сооружений
5. *Всех лиц, проживающих при усадьбе*

включая:

Артём П.
1990 года рождения.

Переход права собственности подлежит по акту, по акту, по акту

Договор составлен в двух экземплярах, и равном количестве.

Артём П.

Денис Пожидаев

НОТАРИУС



18+

СВИДЕТЕЛИ ПОРОГА

Денис Пожидаев

Я тебе не принадлежу

«Автор»

2026

Пожидаев Д.

Я тебе не принадлежу / Д. Пожидаев — «Автор», 2026

Кот различает, что кому принадлежит, какие связи можно разорвать и что вправе остаться. Обычно этого достаточно. Но старые правила умеют переживать людей, договоры и даже причины, ради которых когда-то появились. Когда связь продолжает действовать вопреки воле тех, кого связывает, вопрос собственности становится вопросом свободы.

Мистическая повесть о договоре, принадлежности и праве уйти — потому что добровольное «остаться» имеет смысл только там, где существует «нет».

© Пожидаев Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть первая. Вместе с усадьбой	5
Глава первая. Продан	5
Глава вторая. Моё	9
Глава третья. Новое	12
Глава четвёртая. Не твой	15
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Денис Пожидаев

Я тебе не принадлежу

Часть первая. Вместе с усадьбой

Глава первая. Продан

Сергея продали вместе с усадьбой. Сам Сергей об этом не знал. Новая хозяйка — тоже.

Я не говорю «продали» для красоты. Я вообще не говорю ничего для красоты — это не моя работа. Я говорю точно. И вот точно: в тот день, когда усадьба Ольшанка сменила держателя, вместе с землёй, домом, службами и всем, что при них числилось, новому держателю перешёл живой человек сорока одного года, у которого были свои ключи, своя машина, свои деньги и своё твёрдое намерение через несколько дней отсюда уехать. Ни в одной человеческой бумаге он не значился имуществом. Я проверил после — трижды. В бумагах всё было чисто. Продажа человека случилась не в бумагах. Она случилась там, где считаю я.

Меня зовут по-разному, чаще всего никак — я кот при Избушке, чёрный, немолодой, из тех, на кого не смотрят дважды. Люди меня не считают за собеседника, и мне это удобно: кто говорит при коте, тот говорит правду, потому что не думает, что его слушают. Я слушаю. Только слушаю я не то, что слушают другие. Пёс слышит, кто перед ним. Ворон видит, когда что кончится. Жаба знает, что делается с телом. А я знаю, между кем и чем натянута связь и что будет, если её потянуть.

Это узкая наука, и люди её презирают, пока она им не понадобится. Спросите человека, чей на нём пиджак, — он ответит не думая. А спросите, что должно случиться, чтобы пиджак перестал быть его, — и он задумается, и в этой задумчивости откроется всё: кто ему пиджак дал, кому он должен, что он обещал и от чего не смеет отказаться. Люди любят существительные. Я больше доверяю предложениям. В предложениях обычно и спрятано, кто кого держит.

Так вот про Ольшанку.

Я оказался там не по делу Порога. Порог меня туда не посылал; у Порога вообще к той усадьбе не было дела, и в этом, если хотите, вся беда — то, что тянулось полтора века, никого не тревожило, потому что не давало о себе знать. Я забрёл туда сам, как хожу всюду, где меняется владение: смена держателя для меня — как для Жабы перелом, как для Ворона похороны. Тянет посмотреть, чисто ли пройдёт. Обычно проходит чисто. Дом переходит дому, вещь вещи, и связи ложатся ровно, без остатка. Я и шёл смотреть на ровное.

Усадьба была не из страшных. Я знаю, чего ждут от таких мест: чёрный фронтон, вороны на флюгере, ставни настежь в безветрие. Ничего этого не было. Был большой старый дом в три слоя разной кладки, несколько хозяйственных корпусов, мастерская с промасленным верстаком, служебный домик поодаль, запущенный сад и поверх всего этого — свежие следы новой хозяйки: строительные леса у восточного крыла, синие контейнеры под мусор, аккуратно составленная новая техника под навесом, размеченные колышками дорожки. Кто-то собирался чинить это надолго и всерьёз. Я это уважаю. Чинить всерьёз — честное занятие.

Как я туда попал — отдельно скажу, чтоб не думалось, будто меня носит без разбору. Я хожу далеко от Избушки, дальше многих, потому что моё дело — принадлежность, а принадлежность меняется всюду, где люди что-то продают, дарят, делят, наследуют. Смена держателя тянет меня, как тянет к себе всякого мастера чужая работа его ремесла: иду посмотреть, чисто ли сделано. Про Ольшанку я и не слыхал прежде — обычная усадьба, каких много, никогда не давала о себе знать, потому что полтора века переходила внутри одной семьи, а внутри семьи

моё ремесло дремлет: там всё передаётся по крови, по привычке, без резких переходов, которые я слышу. И вот усадьбу впервые за очень долгое время продали чужому. Такой переход я слышу издалека, как собака слышит грозу за горами. Пришёл на грозу. Думал — обычная, отгремит и уйдёт. Не ушла.

Хозяйка ходила по дому с человеком от прежних владельцев — сверяли. Ключи, помещения, узлы отопления, старую мебель, что шла в сделку, и старую мебель, что не шла. Я шёл следом, вдоль стен, и слушал переходы. Вот связка ключей — была при доме, стала при ней, чисто. Вот котёл — при доме, при ней, чисто. Вот дубовый буфет, который решили оставить, — при доме, при ней. Вот кресло, которое прежние забирали, — оно уже не при доме, оно при них, тянется прочь, за грузовик, и это правильно, так и должно тянуться. Всё ложилось ровно. Я почти заскучал.

Хозяйку звали Анна Викторовна Белова, сорока шести лет, и я скажу про неё сразу то, что понял не в первый час, а к концу первого дня, но что удобнее сказать сейчас: она была не тем, кого я ждал. Я в делах владения привык к худшему в людях — к тем, кто путает «у меня есть» с «мне можно всё». Реставратор по ремеслу, она знала цену границе. Купить старый дом для неё не значило получить право делать с ним что угодно; она и стены-то трогала с оглядкой, где несущая, где историческая, где чужая работа, которую нельзя переписывать под себя. Человек, который так обходится с домом, обыкновенно так же обходится и с людьми. Это я тоже к ней потом отнёс. А в первый час просто отметил: держит границу. Редкое.

Она и купила-то Ольшанку не как покупают игрушку богатые от скуки, а как берут больного на лечение. Я слышал в ней замысел, долгий, выношенный: не снести, не выхолостить под новодел, а поднять, сохранив, где можно, чужую старую работу. Она обходила комнаты и говорила своему спутнику от прежних хозяев не «это переделаю», а «это чьё, это когда клали, это трогать нельзя». Для реставратора чужая старая рука — святыня; он всю жизнь учится не подменять её собой. И вот что мне тогда же подумалось, а после подтвердилось: с таким складом ей будет особенно невыносимо узнать, что вместе с домом ей досталась власть над живым человеком. Потому что человек — это ведь тоже чужая работа, самая старая и самая не-её, которую уж точно нельзя переписывать под себя. Кто свято чтит границу вещи, тот вдвойне не стерпит, что переступил границу человека, сам того не желая.

Сергея я нашёл в котельной.

Он стоял на коленях перед старым насосом, разобрал его до половины, и делал то, что делают руками тридцать лет подряд, не думая, — руки знали сами, а он смотрел куда-то мимо, в свои мысли. Немолодой, жилистый, с той посадкой плеч, что бывает у людей, привыкших отвечать за железо. Я сел в дверях и стал слушать.

И вот тут ровное кончилось.

Я слушал его так же, как слушал ключи и котёл, — по привычке, не ожидая ничего. Человек — не вещь, у человека связей много, они сложные, живые, я их не сваливаю в кучу. Но одна из них у Сергея легла так, как не должна ложиться ни одна человеческая связь. Она легла как у котла. Как у буфета. Как у той связки ключей. Сергей был при Ольшанке — и не в том смысле, в каком человек «при работе», когда связь тянется от него к делу и обрывается, чуть он уйдёт. Он был при Ольшанке в том смысле, в каком при доме бывает имущество: как зависимая принадлежность, которая переходит вместе с домом, не спрашивая себя, хочет ли она перейти.

Я не поверил. Это первое, что делаешь в моём ремесле, услышав несусаицу, — не веришь себе и слушаешь заново. Я подобрался ближе, лёг у самого верстака и перечитал его по слоям, как читают долгую связь. Человек — да, отдельный, целый, я это чую и без Пса, хоть отдельность людей не моя забота. Свои вещи — вот отвёртка, его, вот перчатки, его, чисто. Работа — да, он служит тут, связь работника с местом, обыкновенная, живая, такая рвётся при расчёте. А под работой, глубже работы, там, где у свободного человека нет вообще никакой

нити к дому, у Сергея была нить. Толстая, старая, спокойная. И тянулась она не от него к дому — а от дома к нему, как тянется от хозяина к вещи.

— Кот, — сказал Сергей, не оборачиваясь. — Ты чей?

Я не ответил. Я редко отвечаю людям в первый день; сперва надо понять, стоит ли. Но вопрос я запомнил, потому что он был точнее, чем Сергей думал. «Ты чей» — не «ты откуда», не «ты как зовёшься». Человек, у которого под кожей сидит чужая принадлежность, и спрашивает про принадлежность, даже у кота, даже не зная зачем.

Вечером был разговор, ради которого, как я теперь понимаю, всё и завязалось, — хотя тогда он показался мне пустым.

Сергей нашёл Анну во дворе, у контейнеров, и сказал ей то, что говорят заранее и без надрыва:

— Анна Викторовна. Я через несколько дней уйду. Нашёл место в городе, на производстве. И с жильём решается. Так что вы ищите на моё место человека, я пока введу, покажу, что тут к чему.

Я слушал их обоих. Не слова — слова у таких разговоров всегда примерно одни. Я слушал связь. Она была живая и обыкновенная: работник предупреждает хозяйку об уходе, хозяйка принимает. И — я ждал этого — при слове «уйду» рабочая нить между Сергеем и местом должна была тронуться, чуть ослабнуть, начать отходить, как отходило кресло прежних владельцев. Так уходят. Человек говорит «я уйду», и связь его с местом первой слышит это и начинает разжиматься, задолго до того, как он сядет в машину.

— Жаль, — сказала Анна. И это было честное «жаль»: я слышал, что она не притворяется, ей правда неудобно терять человека, который знает тут каждый вентиль. — Может, останетесь? Я подниму условия. Мне человек, который знает объект, дороже нового.

— Спасибо, не надо, — сказал Сергей. — Я решил.

— Ну, решили так решили, — сказала она. Без нажима. Совсем без нажима — я проверял, там не было ни капли того «останься», которым хозяева удерживают. — Отработаете, сколько договоримся, и свободны.

Свободны. Она сказала это слово легко, как говорят люди, для которых оно ничего не весит, потому что и так всё свободно. Я услышал это слово и стал ждать, когда за ним последует дело.

Дела не последовало.

Рабочая нить послушно тронулась — та, обыкновенная, от работника к работе; она поняла «уйду» и начала разжиматься, как ей и положено. А та, другая, толстая и старая, что тянулась от дома к человеку, — она не шелохнулась. Ей было всё равно, что Сергей уходит. Она держала его не за то, что он тут работает. Она держала его за то, что он тут числится. И «я уйду» для неё было не событием, а шумом, — как для буфета всё равно, хочет ли он стоять в этой комнате.

Я сидел во дворе, смотрел, как расходятся эти двое — каждый уверенный, что дело решено, — и понимал, что дело не решено и даже толком не начато. Потому что оба сделали всё правильно. Сергей честно предупредил. Анна честно отпустила. По всему, что есть у людей, — по совести, по слову, по бумаге, которую они подпишут, — человек был свободен уйти.

Я подобрался к Анне, когда Сергей скрылся в котельной, и сделал то, что делаю редко и только когда нужно наверняка: заговорил.

— Вы его не считаете своим, — сказал я. Не спросил. Мне не нужно было спрашивать, я слушал её весь день. — Сергея. Он вам не имущество.

Анна не вздрогнула от говорящего кота — она вздрогнула от того, что кот говорит. Люди пугаются не чуда, а того, что чудо обращается к ним по делу.

— Разумеется, нет, — сказала она, когда справилась с голосом. — Что за вопрос. Он работник. Захочет — уйдёт. При чём тут «своё»?

— Ни при чём, — сказал я. — В том и беда.

Я услышал её ответ телом связи, как слушаю всё: она говорила правду. В ней не было ни владения, ни желания владеть, ни тайного «а хорошо бы удержать». Чистый отказ от всякого права на человека. Так и должно быть у порядочного нанимателя.

А связь держала. Держала поверх её отказа, мимо её воли, не спрашивая её согласия, — потому что связь эта была не между Анной и Сергеем. Анна к ней вообще не имела касательства. Она просто купила дом, а к дому прилагался человек, и никто из двоих об этом не подозревал.

Вот что я понял в первый день и чему сначала не поверил, а к ночи поверил: Сергея никто не продавал. Ни Анна не покупала, ни прежние не продавали, ни сам он себя не закладывал. Все были ни при чём, все были честны, все были свободны.

Именно поэтому хуже всего было то, что продажа всё-таки состоялась.

Глава вторая. Моё

Наутро Сергей начал вывозить своё.

Это правильное занятие для того, кто уходит, и я люблю за ним наблюдать: в сборах человек сам, руками, разбирает связи, которые нарастали годами, и по тому, как он их разбирает, видно, что он о них думает. Одну вещь берёт не глядя — своя, тут и думать нечего. Над другой замирает — не помнит уже, его или казённая. Третью оставляет со вздохом — привык, а не его. Сборы честнее завещания. В завещании человек говорит, чему он хочет принадлежать. В сборах — чему принадлежит на самом деле.

Я люблю смотреть, как собираются в дорогу, — для моего ремесла сборы то же, что для лекаря пульс. Человек в сборах сам, руками, признаётся, чему он принадлежит, а чему нет, и врать тут не умеет даже тот, кто мастер врать словами: рука знает лучше языка. Возьмёт вещь без раздумья — своя, сроднившаяся. Задержит в руке — сомневается, чья. Отложит с лёгким сердцем — привык, а не жаль. Бросит не глядя — чужая, хоть и годами при нём была. По этому перебору я читаю человека вернее, чем по его рассказу о себе; рассказать о себе всякий норовит красиво, а собраться красиво нельзя — собираешься как есть.

Сергей собирался как мастер: не по комнатам, а по назначению. Сперва мастерская. Он вынес на свет большой железный инструментальный ящик — старый, крашенный не раз, с вытертыми до блеска ручками, — поставил на верстак и открыл. И вот над этим ящиком я провёл, наверное, лучший час того дня, потому что ящик оказался честнее всех людей, каких я в Ольшанке встретил.

В нём лежали три разные жизни.

Сергей их различал сам, без меня, и в этом он был хорош. Он брал ключ, вертел в пальцах, говорил вслух, не мне — себе:

— Это батин. — И клал налево. — Это батин. Это тоже. Этот я в девяносто восьмом брал, свой. Этот свой. А вот эти два — казённые, при мастерской, тут оставляю.

Над одним ключом он задержался дольше прочих — тяжёлый разводной, с обмотанной изолентой ручкой, — подержал, положил налево и сказал, ни мне, никому:

— Батя им меня учил. Дал в руки, говорит, вот этим можно, а руками не лезь, оторвёт. Мне лет восемь было.

Я слушал не слова — я слушал, как в этот ключ вложена целая жизнь: отец, восьмилетний Сергей, наука не лезть руками, все годы, что ключ прожил в этих руках, сперва отцовских, потом сыновних. Такая вещь у человека дороже дома. Дом можно продать, а вот это — нельзя, потому что продаёшь не железо, а руку отца на своей руке. И я слушал, как эта самая вещь, самая заветная, тянется не к Сергею, в котором вся её память, а к дому, которому она никто. Отцовская наука не лезть руками — и та оказалась записана на усадьбу. Вот тут мне стало по-настоящему скверно, потому что я понял, что беда добралась не до имущества, а до памяти; что у человека отбирают не ключ, а отца в ключе.

Налево ложилось отцовское и своё, направо — усадебное. Он не путал. Человек, который тридцать лет живёт железом, знает своё железо, как пастух своих овец. Я слушал вместе с ним — и вот что услышал.

Казённое было казённым. Два ключа, что он отложил направо, честно тянулись к мастерской, к дому, теперь к Анне: при доме были, при доме и остаются, чисто. С ними никакой беды.

А налево беда была.

Отцовские инструменты — те, что Сергей раскладывал со словом «батин», с тем особым коротким уважением, с каким говорят о руках умершего, — тянулись не к Сергею. Часть из них тянулась к Ольшанке. Не все. Но многие. Гладко, спокойно, как своё к своему: будто эти ключи

и напильники были не памятью об отце, а инвентарём места, который сын по недоразумению считает своим.

И — вот что было хуже — свои, Сергеевы, купленные им самим в девяносто восьмом и позже, за свои деньги, для своих рук, тоже наполовину смотрели туда же. К дому. К усадьбе. Не к нему.

Я перечитал трижды. Я всегда перечитываю трижды, это не мнительность, это ремесло: связь принадлежности бывает обманчива в мелочах, вещь долго прожила в одном месте и могла присвоиться месту честно, по давности, — так дедов топор, провисевший век в одной избе, становится «избяным» вернее, чем «дедовым». Я подумал сперва про это. Разумная мысль. Инструмент десятилетиями работал в Ольшанке; немудрено, что часть его приросла к месту.

Но давность так не тянет. Давность делает вещь «здешней» — а тут вещь была не здешняя. Тут вещь была Аннина. Отцовский напильник, которого Анна в глаза не видела, который куплен был, когда её тут и близко не стояло, тянулся к ней — не к дому вообще, а к нынешнему держателю дома. Как будто память Сергеева отца тоже вошла в сделку купли-продажи и досталась новой хозяйке вместе с котлом.

— Кот, — сказал Сергей. Он поймал мой взгляд — люди редко ловят, а он поймал, у него был глаз на то, что не на месте. — Ты чего на ящик уставился.

Я решил, что стоит. В первый день я к нему не пошёл, а тут пошёл — потому что дело было в его руках, а не в чужих, и врать ему не следовало.

— Возьми любой, — сказал я. — Свой. Который твёрдо твой.

Он усмехнулся говорящему коту, как усмеваются во сне, — принимая, потому что спорить лень, — и взял ключ.

— Вот этот мой. Сам покупал. Двадцать лет назад.

— Знаю, — сказал я.

— Тогда в чём дело?

— В том, что он не знает.

Сергей помолчал.

— Кто?

— Пока не знаю, — сказал я. И это была правда, вся, до дна. Я слышал, что ключ считает себя не Сергеевым. Но кто ему это внушил — дом, хозяйка, старая какая-то записка, — я в тот час ещё не знал и не стал выдумывать. В моём деле выдумать хозяина хуже, чем не найти: назовёшь не того — и человек всю жизнь будет судиться с невиновным.

— Слушай, — сказал Сергей и сел на табурет. Он не испугался — он рассердился, а это в человеке я ценю выше страха; страх мельчит, злость проясняет. — Я тридцать лет тут прожил. Я знаю, что моё, что батино, что казённое. Вот этот ключ — мой. Я его купил на свои, в девяносто восьмом, в райцентре, у мужика по фамилии Гуляев, он ещё сдачу зажал. Мой. И ты мне будешь говорить, что он «не знает»?

— Не я, — сказал я. — Ключ.

Он посмотрел на ключ. Повертел. Ключ, ясное дело, молчал — вещи не говорят даже мне, я не слышу их голос, я слышу их привязь. Но Сергей — я это видел — впервые в жизни усомнился в том, в чём был уверен как в собственной руке. И это было нехорошо, я потом за собой это отметил как оплошность: человеку нельзя ронять уверенность в том, что его вещи — его, пока не можешь сказать, кому они теперь. Уверенность в своём — последнее, за что человек держится, когда у него отбирают всё остальное. Я пошатнул её, не дав взамен ничего.

Чтобы загладить, я стал слушать не ящик, а Сергееву жизнь — ту, что вне Ольшанки, — потому что надо было понять, вправду ли человек выходит из этого места или только собирается на словах. Вышло, что вправду. За тот день я услышал, как в нём тянутся новые нити, здоровые, в другую сторону: к городу, к производству, где его ждали, — там уже был подписан не то договор, не то предварительное что-то, связь свежая, крепкая, честная; к небольшой

квартире, за которую он внёс задаток, — связь совсем молодая, ещё тонкая, но своя, ясная. Человек не мечтал вырваться из страшного места. Человек спокойно, по-хозяйски, сворачивал одну жизнь и разворачивал другую, как сворачивают лагерь: без надрыва, по порядку, зная, куда едут.

Это важно, и я скажу прямо, чтобы потом не выгораживать себя: Сергей ничего не сделал не так. Он не ленился, не тянул, не цеплялся за Ольшанку тайком, не любил её больной любовью. Он честно уходил. Всё, что от человека требуется, чтобы уйти, он сделал и делал дальше.

К полудню он устал от моих вопросов. А вопросов я задал много, потому что мне надо было знать про каждую вещь налево: кто купил, когда, чем платил, работал ли ею тут, давал ли отец. Я спрашивал сухо, по одному, как спрашивают в описи.

— Слушайте, — сказал он наконец, и на «вы» перешёл от раздражения, люди так делают, когда хотят отгородиться. — Вы меня как инвентаризацию проводите. Кто купил, чем платил, где стояло. Я вам не склад.

— Я и не про вас спрашиваю, — сказал я. — Я про вещи.

— Это одно и то же, — сказал он. — Мои вещи — это я. Тридцать лет наживал.

Я тогда не ответил, а надо было бы задуматься, потому что он сказал точнее меня. Он сказал главное про всё это дело, сам того не зная: что нельзя провести опись человека, не задев человека; что вещи, которые он «наживал», — это и есть он, разложенный по железному ящику; и что если система описывает его вещи как чужие, то она описывает как чужого — его самого. Я услышал это тогда как раздражение усталого человека. А это была формула. Я в тот день ещё думал, что передо мной задача про вещи. Ошибался. Задача была про то, имеет ли этот человек право на то, что его.

Ложную мою мысль — про давность, про то, что инструмент просто прирос к месту за годы, — я не стал закрывать. Она ещё держалась на плаву, и глупо закрывать версию, которую нечем опровергнуть. Опровергнуть её мог только чистый опыт: новая вещь. Вещь, которую Сергей купит завтра, которая никогда не работала в Ольшанке, которую ни давность, ни привычка не могли бы привязать к дому.

— Ты собирался что-то купить для нового места? — спросил я. — Новое. Своё.

— Инструмент, — сказал он, не понимая, к чему я. — На новую работу. Хороший набор, я приглядел. А что?

— Купи, — сказал я. — И принеси сюда. Мне надо посмотреть на чистое.

Он посмотрел на меня долгим взглядом человека, который начинает подозревать, что вляпался во что-то, чего не чинят ключом.

— Через четыре дня, — сказал он, — меня здесь вообще не будет.

— Я знаю, — сказал я.

Я не стал добавлять того, что уже знал наверняка и что было бы для него слишком рано: что четыре дня, машина, город и новая квартира могут не изменить ровным счётом ничего. Что можно уехать за сто вёрст и остаться при Ольшанке — не ногами, ногами он был свободен, а тем местом, которым человек числится, а не стоит. Уходят ногами. А держат — не ногами.

Он этого пока не знал. Он думал, что уезжает.

Глава третья. Новое

Инструмент он привёз на другой день.

Хороший набор — я в железе не знаток, но привязь вещей чую и по ней сужу о цене: дорогая вещь тянется к хозяину плотнее дешёвой, потому что в неё вложено больше выбора. Сергей выбирал этот набор долго и с удовольствием, я это слышал сразу, как только он выставил его на верстак: диагностический прибор с чемоданчиком, аккуратные гнёзда, всё новое, пахнущее заводом и деньгами. Куплено на свои. Для новой работы. Ни разу не бывало в Ольшанке до этой минуты.

Он распаковывал его, как распаковывают не инструмент, а начало новой жизни, — вынимал каждую вещь из гнезда, оглядывал, ставил обратно, и я слушал, как ему хорошо. Человеку было хорошо. Я это редко про людей говорю, потому что редко бываю при их хорошем — меня зовут, когда плохо, — но тут застал. Сергей был из тех, у кого радость выходит через руки: он не улыбался, он трогал. Он рассказывал мне — уже привык, что кот слушает, — про новое место, про то, что там цех, станки посерьёзнее здешних, что мастер, который его звал, человек толковый, и что он, Сергей, давно хотел работу, где не он один за всё, а есть с кем словом перекинуться по делу. Я слушал не про станки. Я слушал, как в нём тянутся к городу новые нити — к цеху, к мастеру, к квартире, — свежие, крепкие, все от него и все наружу, в его завтра. Здоровый человек, разворачивающий свою жизнь в новую сторону. Ни одной больной привязи. Я тогда подумал: вот и славно, вот и уедет, и всё это здешнее отвяжется само.

Я проверил прибор тут же, не отходя.

Чисто.

Я скажу, до чего это было чисто, потому что важно: прибор был Сергеев так, как редко бывает что-то чьё. Ни давности, ни привычки, ни памяти отца — ничего, за что могло бы зацепиться место. Свежая, крепкая, однозначная нить от вещи к человеку, и больше никуда. Вот, подумал я, вот и опыт: если через день, через два эта чистая вещь останется Сергеевой, значит, я ошибся, значит, старый ящик и вправду просто прирос к месту за тридцать лет, и вся беда — в давности, а давность лечится расстоянием. Уедет — отвяжется.

Я ошибся в другую сторону.

К вечеру того же дня — Сергей и полусуток не пробыл с новым прибором на территории Ольшанки — привязь тронулась. Не оборвалась, нет; вещь не перескочила к Анне разом, как перескакивает украденное. Она поплыла. Медленно, ровно, как плывёт краска в воде: от прибора потянулась тонкая новая нить, и легла она не к Сергею, а сквозь Сергея — дальше, к дому, к усадьбе, к держателю места.

Вот тут я и увидел механизм, и он был хуже всего, что я успел напридумывать.

Я думал сперва — усадьба забирает. Что есть в этом месте некая жадность, которая тянет к себе чужое, и надо, стало быть, искать жадное. Ничего подобного. Ольшанка не тянула. Дому было всё равно. Нить шла не от дома к прибору — она шла от прибора к Сергею, честно, как положено, а вот уже от Сергея — дальше, к дому. Прибор принадлежал Сергею. А Сергей принадлежал Ольшанке. И потому всё, что принадлежало Сергею, через него, вторым коленом, оказывалось принадлежащим усадьбе.

Он был не жертвой места. Он был каналом. Трубой, по которой его собственное утекало не к нему, а сквозь него — туда, куда числился он сам.

Я, чтоб не ошибиться в таком, перепроверил на живом примере — на том, как это работает у обыкновенных людей, у которых всё правильно. Возьми любого. Купил человек вещь — вещь его; отдал — стала чужой; помер — перешла наследникам. Ток принадлежности идёт от вещи к человеку и упирается в человека, в нём кончается, потому что человек — предел, дальше некуда, он сам себе последняя инстанция. На то он и человек. А у Сергея этого пре-

дела не было. Ток доходил до него и не упирался, шёл насквозь, дальше, к усадьбе, будто Сергей — не берег, а брод, через который переходят к настоящему хозяину. Вот что значит быть записанным принадлежностью: ты перестаёшь быть тем, в ком вещь находит своего хозяина. Ты становишься местом, которое вещь проходит по дороге к хозяину. И это, я думаю, и есть самое точное определение неволи, какое я знаю: неволя — это когда ты не предел для своего, а проход к чужому.

— Ну что, — спросил Сергей, увидев, что я опять сижу над его вещами. — Насмотрелся? Мой прибор?

— Твой, — сказал я. — Пока.

Он услышал это «пока». У него был слух на лишние слова, я уже говорил.

— Что значит «пока»?

— То и значит. Сейчас твой. К концу недели — не весь твой.

— А деньги? — спросил он вдруг. Практично, по-хозяйски, сразу о главном: не о ключах, о деньгах. — У меня на книжке отложено. За квартиру внёс, ещё осталось. Это тоже — «пока»?

— Пока твои, — сказал я.

— «Пока», — повторил он и посмотрел на меня уже без усмешки. — Мне это слово не нравится.

— Мне тоже, — сказал я. — Оттого и говорю. Была б моя воля, я бы сказал «твои» и ушёл. Не могу.

Тут надо оговориться, чтобы дело не съехало в дурную сказку, где у человека вещи разбегаются на глазах и всё вокруг заколдовано. Так не было. Заражалось не всё и не сразу. Новый прибор поплыл, потому что вещь была значимая, дорогая, взятая надолго, — в такие вложено много человека, и через них человек течёт сильнее. А старая куртка, которую Сергей носил каждый день, осталась почти чистой: висела при нём, мелкая, привычная, дому неинтересная. Машина держалась — машина была вписана в отдельные бумаги, у неё была своя крепкая человеческая привязь, и старому договору места до неё пока было не дотянуться. Я говорю это, чтобы было ясно: беда шла не буйно, а с разбором. Она брала то, во что человек вкладывался, — будущее, крупное, надолго, — и оставляла мелочь. И этим была страшнее буйной. Буйную видно всем. А эту не видел никто, кроме меня, потому что снаружи всё было как у людей: живёт человек, покупает прибор, копит на жизнь. Только жизнь эта, пока он её строил, потихоньку записывалась не на него.

Я, чтобы не гадать, послушал и книжку — те отложенные деньги, о которых Сергей обмолвился. Издали, сквозь него. И там, в его сбережениях, уже занималась та же тонкая нить, что и у прибора: не вся, не сразу, но занималась. Не куртка, не мелочь дня — сбережения, отложенное на потом, самое будущее его. Я послушал это и понял, что беда метит не в карман, а в завтра.

Анна прошла через двор, увидела нас — меня на верстаке, Сергея над раскрытым чемоданчиком — и остановилась. Она уже знала, что кот в её доме разговаривает; за сутки привыкла настолько, насколько к такому вообще привыкают, то есть перестала ронять чашки, но не перестала бояться.

— Что-то не так с инструментом? — спросила она. Деловито; у неё всё было деловито, реставратор. — Если он служебный, я оформлю передачу, чтобы Сергей Андреевич забрал спокойно.

— Он не служебный, — сказал я. — Он Сергеев. В том и дело.

— Тогда я не понимаю, — сказала Анна.

— Пока и я не весь понимаю, — сказал я. — Скажу, когда пойму. Одно скажу теперь: похоже, беда не в вещах.

— А в чём?

Я не ответил ей вслух, но себе ответил, и это был первый настоящий вывод за все три дня, и я запомнил час, когда его сделал, потому что после него дело перестало быть про опись и стало про человека.

Не вещи Сергея становились усадьбными. Вещь ни в чём не виновата, вещь просто честно тянется к хозяину. Это сам Сергей — медленно, тихо, мимо своей воли и мимо воли Анны — переставал считаться тем, у кого вообще может быть своё. У кого есть право иметь. И пока это право у него отнимали, всё, что он ни возьмёт в руки, всё, что купит, наживёт, отложит на старость, будет утекать сквозь него туда, где числится он сам.

Человека нельзя ограбить дочиста, отняв вещи. Вещи наживаются заново. Человека грабят дочиста, отняв у него право иметь вещи. Тогда сколько ни наживай — всё чужое.

Вот это с Сергеем и делали. И самое скверное было в том, что делать это продолжало бы и за сто вёрст, в новой квартире, на новой работе, до самой его смерти, — если не найти, кто это делает, и не остановить.

Я в тот вечер долго сидел на верстаке и думал не о своде — до свода я ещё не дошёл, — а о простом. О том, что человек всю жизнь строит себя из того, что наживает. Не только из мыслей и не только из дел — из вещей тоже, из того, что вокруг него нарастает и становится им: этот дом, этот инструмент, эти отложенные деньги, эта задуманная квартира. Отними у человека мысли — он оскудеет, но останется. А отними у него право, чтобы нажитое было его, — и он вроде цел, руки-ноги на месте, а строить себя больше не из чего: всё, что он ни возьмёт, тут же оказывается не его. Это как черпать воду решето. Сколько ни зачерпни, а в руках пусто, и не оттого, что воды нет, а оттого, что тебе не дано её удержать. Сергею оставили решето. Воды вокруг сколько угодно — работай, покупай, копи, — а удержать нечем.

А кто ему пробил это решето, я всё ещё не знал.

Глава четвёртая. Не твой

Я объяснил Анне то, что успел понять. Без Порога, без договора, без слов, которых человеку знать незачем и от которых только хуже спится. Я сказал так, как говорят человеку про поломку, которую он не увидит своими глазами, но должен принять на слово мастера.

— Есть счёт помимо вашего, — сказал я. — Не денежный. Старый. По этому счёту всё, что при доме, переходит вместе с домом. Не только вещи. По нему и Сергей — при доме. Значит, по нему он перешёл к вам. Вместе с котлом.

Анна выслушала, не перебивая. Реставратор — она привыкла к тому, что у старого здания есть слои, которых не видно с фасада, что за штукатуркой бывает кладка, о которой не знал ни один прежний хозяин. К мысли, что за видимой сделкой есть невидимый счёт, она отнеслась не как к бреду, а как к скрытому дефекту, который надо вскрыть и понять.

— У меня так бывает с домами, — сказала она, и я услышал, что она не подыгрывает коту, а вправду думает вслух. — купишь, начнёшь снимать поздние слои — а под ними чужая перестройка, о которой в бумагах ни слова. Кто-то сто лет назад заложил дверь, прорубил другую, и по бумагам её нет, а стена помнит. Дом всегда честнее документов. — Она помолчала. — Вы мне говорите, что человек — как та заложенная дверь? Что где-то есть стена, которая его помнит не так, как бумаги?

— Ближе, чем вы думаете, — сказал я. Мне понравилось, как она это взяла: не отмахнулась, не испугалась чуда, а перевела на свой язык, язык человека, который умеет читать скрытое в старом. С таким можно работать. — Только эту стену вам не вскрыть. Она не в доме. Она в счёте, до которого ваши руки не достают.

— В договоре купли-продажи его нет, — сказала она наконец. Твёрдо. Она знала свои бумаги. — Я покупала землю, дом, службы, вписанное имущество. Ни одной строки про человека. Я бы такую строку не подписала.

— В вашем — нет, — сказал я. — Я про другой счёт. Он вашей подписи не спрашивал.

Она помолчала. И сказала то, что стало потом одной из немногих фраз, которые я в этом деле берёг как чистые, — потому что в ней не было ни капли неправды, я слушал:

— Я этого не покупала.

— Знаю, — сказал я.

И это тоже была правда, вся. Я слушал её третий день. В ней не было владения. Не было тайной радости обладания, того сладкого «а всё-таки моё», которое я чувствую в людях за версту и которое портит даже добрых. Анна не хотела Сергея. Ни как работника сверх меры, ни как что бы то ни было. Она честно собиралась его отпустить и честно недоумевала, отчего это оказалось так сложно устроить.

— Хорошо, — сказала она наконец, по-деловому, как берутся за неприятную, но решаемую задачу. — Если дело в том, что счёт считает его моим, — я откажусь. Прямо. При вас, при нём, как угодно.

Она позвала Сергея. Он пришёл из мастерской, вытирая руки, и встал в дверях — уже не совсем работник, ещё не совсем ушедший, в том неудобном промежутке, в каком человек проводит последние дни на месте, которое покидает.

— Сергей Андреевич, — сказала Анна, и я услышал, что она собирается говорить всерьёз, потому что перешла на полное имя. — Я хочу сказать это вслух и при свидетеле. — Она глянула на меня; вышло странно — свидетелем звали кота, — но она не улыбнулась, ей было не до того. — Вы мне не принадлежите. Я не покупала вас вместе с усадьбой и не заявляю на вас никаких прав. Ни на вас, ни на ваши вещи, ни на вашу работу сверх того, о чём мы договоримся по-человечески. Вы свободны уйти, когда решите.

Она сказала это чисто. Я проверял в каждом слове, как проверяют шов, — ни трещинки. Настоящий отказ. Полный. Такой, какого хватило бы в любом человеческом деле, чтобы закрыть вопрос навсегда.

Я стал слушать связь.

Связь не шелохнулась.

Толстая старая нить от дома к Сергею — та, что держала его при Ольшанке, — приняла Аннин отказ так же, как приняла Сергеево «я ухожу»: как шум. Ей было безразлично, что Анна отказывается. Отказ Анны для неё значил не больше, чем если бы владелец сказал про свой буфет: «Я его не хочу». Не хочешь — а он твой. Не пользуешься — а он числится. Владелец может не любить вещь, может её бросить, может кричать на неё, что она ему не нужна, — вещь от этого не перестаёт быть вещью.

— Ну? — спросил Сергей. Он смотрел на меня; он уже понял, что решается тут не через Анну и не через бумаги, а через кота, который слушает то, чего не слышат они. — Помогло?

— Нет, — сказал я.

И вот тут стало по-настоящему нехорошо. Не мне — я и не такое слушал. Им. Потому что до этой минуты можно было думать: есть некий злой умысел, чья-то воля держит Сергея, и стоит эту волю переупрямить — всё разожмётся. Люди привыкли, что у беды есть автор. Что можно найти того, кто держит, и заставить отпустить. А тут держащий отказался держать — и ничего не изменилось. Впервые в этом деле стало ясно, что бояться надо не злого хозяина. Злого хозяина можно уговорить, купить, пересилить, пережить. Тут не было хозяина вовсе. Тут было правило, которому всё равно, чего хотят люди.

Анна постояла, переваривая своё бессильное «отказалась, а держит». Я слушал, как в ней это оседает — не страхом, а той холодной оторопью, что берёт делового человека, когда исправный с виду порядок вдруг не отзывается на правильное действие. Она привыкла, что у всего есть рычаг: не так — переделай, ошиблась — исправь, не хочешь владеть — откажись. А тут она нажала на все рычаги сразу, и ни один не сработал, потому что рычаги были её, человеческие, а механизм — не её и не человеческий.

— Я как будто кричу в стену, — сказала она наконец. — И стена меня слышит — я вижу, что слышит, — а сделать по-моему не может. Или не хочет. Не пойму, что хуже.

— Не хочет и не может — это про волю, — сказал я. — А тут воли нет. Тут просто устроено так. Стена не злая. Стена так сложена.

— От этого не легче, — сказала она, второй раз за наше знакомство, и я опять не нашёл, что возразить, потому что легче и вправду не было.

— Теперь ты, — сказал я Сергею. — Скажи своё. Вслух. Что ты ей не принадлежишь.

Он рассердился — и правильно сделал. Я и сам бы рассердился, если бы можно было слушать связь и злиться разом.

— Я должен вслух говорить, что я не вещь? — сказал он. — Кому? Ей? Она и так знает. Себе? Я это и без вас тридцать лет знаю.

— Не им, — сказал я. — Счёту.

Он посмотрел на меня, потом на Анну — та кивнула, мол, скажи, хуже не будет, — и сказал. Сквозь зубы, злой, оттого особенно чисто, потому что злость не умеет притворяться:

— Я ей не принадлежу.

Я слушал. Отказ был настоящий — настоящее не бывает. В нём была вся Сергеева упрямая порода, всё его «я работаю здесь, я не отсюда», всё, чем человек тридцать лет отстаивал, что он сам по себе. Если бы отказ мог что-то решить, этот решил бы.

Связь не шелохнулась и на его голос.

И вот тут я впервые за дело испугался — не за исход, за устройство. Аннин отказ связь всё-таки как-то различила: не приняла, но услышала, отметила, что держатель не хочет держать. А Сергеев отказ она не различила вовсе. Не отвергла — не заметила. Как не замечают,

что говорит стул, когда решают, куда его поставить. Между двумя «нет», сказанными в одной комнате, одно было для счёта хоть каким-то событием, а другое — тишиной. И глухота была именно к тому, кого дело касалось больше всех. Держателя счёт слышал через силу, а принадлежность — никак, потому что у принадлежности нет голоса, ей не отведено места, где голос мог бы прозвучать. Я слушал эту избирательную глухоту и понимал, что она страшнее любого злого умысла: злой умысел хотя бы признаёт, что перед ним тот, кого стоит не слушать. А тут не было и этого. Тут Сергея просто не полагали за того, кто может говорить.

И вот тут я задумался всерьёз — не над тем, кто держит, а над тем, чей отказ вообще считается. Потому что складывалось странное. Двое сказали «нет». Оба честно. Один — со стороны того, кто якобы владеет; другой — со стороны того, кем якобы владеют. По всякому разумению, если и владелец отрёкся, и вещь отсеклась, связи не за что держаться, она должна осыпаться сама. А она держалась. Значит, дело было не в том, что отказы слабые. Отказы были сильные. Дело было в том, что один из этих двух голосов счёт вообще не слушал. Для счёта говорил только один из них — и, судя по тому, что Аннин отказ он всё же как-то различил, а Сергеев пропустил мимо, не слышал он именно Сергея.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.